

## Томас МАНН Об учении Шпенглера

Ницше однажды заметил, что изречение «Несть пророка в своем отечестве» неверно; истинно обратное — человек, не прославившийся у себя дома, никогда не достигнет славы на чужбине. Великий труд господина Освальда Шпенглера с недвусмысленным устрашающим названием «Закат Европы» прошел испытание славой в своем отечестве; всемирной известности он достиг на основе необычайного успеха, выпавшего ему на долю в Германии, и успех этот следует оценить тем более высоко, что ведь книга Шпенглера не относится к так называемому развлекательному чтению, это не роман в общепринятом смысле слова, но глубокомысленный философский труд, снабженный пугающе ученым подзаголовком: «Опыт морфологии мировой истории». И поэтому можно — вопреки внутреннему сопротивлению — испытывать даже национальную гордость, взирая на успех, который нигде, быть может, не имеет в наши дни столь закономерных предпосылок, как в Германии.

Мы — народ, ввергнутый в хаос; катастрофы, которые обрушились на нас, — война, никем не предвиденный крах государственной системы, которая казалась *aere perennius*<sup>1</sup>, и последовавшие за ним глубочайшие экономические и общественные изменения, словом, небывало бурные потрясения привели национальный дух в состояние такой напряженности, какая давно уже была ему неведома. Международная интеллектуальная ситуация усиливает эту напряженность. Все пришло в движение. Естественные науки, у которых в начале столетия как будто не было иных задач, кроме закрепления и дальнейшего развития достигнутых успехов, оказались во всех областях у истоков новых открытий, чья революционная фантастичность не только способна вывести из состояния хладнокровной уравновешенности любого исследователя, но и, проникая в широчайшие круги непричастных к науке людей, потрясает умы непосвященных. Искусства переживают жестокий кризис, который порою грозит им гибелью, порою позволяет предчувствовать возможность рождения новых форм. Разнородные проблемы сливаются; нельзя рассматривать их изолированно друг от друга, нельзя, например, быть политиком, полностью пренебрегая миром духовных ценностей, или быть эстетом, погрузиться в «чистое искусство», забыв о своей общественной совести и наплевав на заботы о социальном устройстве. Никогда еще проблема бытия самого человека (а ведь все остальное — это лишь ответвления и оттенки этой проблемы) не стояла так грозно перед всеми мыслящими людьми, требуя безотлагательного разрешения. Что же удивительного, если тяжело обремененная совесть народов, которые испытали ужас возмездия и поражения и которым приходится непосредственно переживать исторический и мировой перелом, наиболее властно толкает их к осмыслению происходящего? С начала войны в Германии много размышляют, много спорят, спорят почти так же бесконечно, как это свойственно русским; и если прав был государственный деятель, утверждавший, что демократия — это споры, то у нас теперь и в самом деле демократия.

У нас жадно читают. И в книгах ищут не развлечение и не забвение, но истину и духовное оружие. Для широкой публики «беллетристика» в узком смысле слова явно отступает на задний план перед критическо-философской литературой, перед интеллектуальной эссеистикой. Точнее говоря, осуществилось то слияние критической и

---

<sup>1</sup> Прочнее меди (*лат.*).

поэтической сферы, которое начали еще наши романтики и мощно стимулировала философская лирика Ницше; процесс этот стирает границы между наукой и искусством, вливает живую, пульсирующую кровь в отвлеченную мысль, одухотворяет пластический образ и создает тот тип книги, который, если не ошибаюсь, занял теперь главенствующее положение и может быть назван «интеллектуальным романом». К этому типу относятся такие произведения, как «Путевой дневник философа» графа Германа Кейзерлинга, превосходная книга Эрнста Бертрама «Ницше» и монументальный «Гете», созданный Гундольфом, пророком Стефана Георге. К ним безусловно можно причислить и шпенглеровский «Закат» благодаря уже таким его свойствам, как блеск литературного изложения и интуитивно-рапсодический стиль культурно-исторических характеристик; причем, по сенсационности успеха эта книга превосходит все остальные — ему, без сомнения, способствовала и та «волна исторического пессимизма», которая, если воспользоваться выражением Бенедетто Кроче, сегодня захлестнула Германию.

Шпенглер утверждает, что он не пессимист. Еще менее он бы захотел назвать себя оптимистом. Он фаталист. Но фатализм его, выражаемый формулой «Мы должны желать исторически необходимого или не желать ничего», далек от трагического героизма того дионисийского начала, в котором Ницше снял противоположность между пессимизмом и оптимизмом. Он скорее носит характер злобной аподиктичности и враждебности будущему, которая надевает личину научной неумолимости. Он не *amor fati*<sup>2</sup>. Как раз *amor*<sup>3</sup> здесь меньше всего участвует — вот почему он такой отталкивающий. Дело совсем не в пессимизме или оптимизме. Можно очень мрачно смотреть на судьбу человеческую, полагать, что человек обречен или призван страдать до скончания веков; можно, если речь пойдет о «счастье», о каком-то где-то в неопределенном будущем ожидающем нас счастье, драпироваться в тогу глубочайшего скептицизма и все-таки не иметь, вкуса к мертвенному, школярскому безразличию шпенглеровского фатализма. Пессимизм — не жестокость, Он отнюдь, не обязательно означает холодный, как лягушка, «научный» взгляд на развитие и враждебное пренебрежение такими невесомыми величинами, как дух и воля, которые все же, быть может, вносят в процесс развития элемент иррационализма, недоступный для точной науки. А Шпенглеру свойственны именно такая надменность и такое пренебрежение всем человеческим. Пусть бы он хоть был циничен как дьявол! А он всего лишь фаталистичен. И он поступает несправедливо, когда возводит Гете, Шопенгауэра и Ницше в ранг предшественников его гниющих прорицаний. То были люди. Он же всего лишь пораженец рода человеческого.

Я говорю со своим читателем, как если бы он читал «Закат Европы». Я основываю подобное предположение на всемирной славе, которую снискал себе этот труд благодаря его никем не оспариваемым достоинствам. На всякой, случай — вот в самой сжатой форме учение Шпенглера. Историю составляет смена развивающихся и подобных по структуре организмов с индивидуальным обликом и ограниченным сроком жизни, которые мы называем «культурами». До сих пор их было восемь: египетская, индийская, вавилонская, китайская, античная, арабская, западная (то есть наша) и культура народов майя в центральной Америке. Однако, хотя культуры и «подобны» по общей структуре и общей судьбе, каждая из них как бы совершенно самостоятельное существо, замкнутое, обособленное от других, подчиненное лишь своим собственным стилевым законам мышления, видения, ощущения, переживания, и ни одна из них не понимает ни единого слова из того, что говорит другая. Только господин Шпенглер понимает их все вместе и каждую в отдельности и так рассказывает, так поет о всякой культуре, что любо-дорого слушать. В остальном же, как сказано, царит глубокое взаимное непонимание. Смешно говорить о какой-то слитности жизни, о высшем духовном единстве, о том духе человечества, который, по Новалису, есть сокровеннейшая сущность нашей планеты, звезда,

<sup>2</sup> Любовь к року (*лат.*).

<sup>3</sup> Любовь (*лат.*).

связывающая это звено с высшим миром, око, устремленное им к небесам. Напрасно было бы вспоминать, что одна-единственная любовная песня — «Песнь о земле» Малера, где древнекитайская лирика слилась с изысканнейшим музыкальным искусством Запада, образовав органическое общечеловеческое единство, начисто опровергает всю эту теорию о полной отчужденности между культурами. Так как нет человечества, то, по Шпенглеру, нет и, например, математики, живописи, физики, а есть столько же математик, живописей и физик, сколько существует культур; все это вещи по существу отличные друг от друга, какое-то вавилонское столпотворение; и опять-таки один лишь господин Шпенглер одарен интуицией, позволяющей понимать их все. Каждая культура, утверждает он, проходит такой же жизненный путь, как и одиночный человек. Она возникает на почве своей родины, расцветает, достигает зрелости, увядает и умирает. Она умирает, достигнув полноты своего индивидуального характера, исчерпав все живописные выразительные возможности своей сущности, каковыми являются нации, религии, литературы, искусства, науки и государственные формы. Старческий возраст каждой культуры, представляющий собою переход к небытию, к окоченелости и умиранию, к отсутствию истории, мы называем «цивилизацией». Но так как ту или иную возрастную стадию одной из культур можно обнаружить и у всякой другой, то, во-первых, образуется новое и занятное понятие «одновременности»; а во-вторых, познавший эти законы обладает астрономически точной уверенностью в том, что должно произойти. Например, то, что ожидает нашу собственную культуру, западную, которая в начале девятнадцатого века вступила в старческую стадию цивилизации и чье ближайшее будущее соответствует веку воинственных римских императоров, — это устанавливается с полной несомненностью. С несомненностью астрономическо-биологическо-морфологической. С несомненностью ужасающей. И если есть что-нибудь более ужасное, чем судьба, так это человек, который подчиняется ей, не делая ни малейших попыток сопротивляться.

Подчиняться, — к этому призывает нас негибемый ученый. Мы должны желать исторически необходимого или не желать ничего, утверждает он и не замечает, что это вовсе никакая не альтернатива, и если человек желает только того, что неумолимая наука объявит исторической необходимостью, он просто перестает желать — а это, собственно говоря, не слишком свойственно человеку. Что же это за историческая необходимость? Это грозное будущее — гибель, закат Европы, гибель не совсем *sans phrase*<sup>4</sup>, не в физическом смысле (хотя и физическая гибель ожидает многих), но закат Европы, гибель западного мира как культуры. Ведь и Китай еще существует, и на свете живет много миллионов китайцев, но китайская культура умерла. Так же обстоит дело и с тем Египтом, который, начиная с эпохи римского владычества, населен уже не египтянами — народом, имевшим свою культуру и свою историю, — а феллахами. Феллахство — вот, по Шпенглеру, последняя стадия жизни всякого народа. Когда культура гибнет, народ вступает в период феллахства и снова существует без истории, как в свою первобытную пору. А духовным, политическим, экономическим орудием, благодаря которому этот период наступает, является цивилизация, дух города: она создает понятие четвертого сословия, массы, причем той массы, которая уже не народ, — это толпы кочевников мировых столиц, это бесформенность, конец, ничто. Для Запада, как и для любой культуры, пришествие бесформенных сил, лишенных традиций (Наполеон), совпадает с началом цивилизации. Наполеонизм же переходит в цезаризм, парламентская демократия — в диктатуру сильных личностей, отборных представителей человеческой породы, безжалостных экономических конквистадоров типа какого-нибудь Сесия Родса. Цезаризм, как определенную стадию развития, можно отметить в истории всех погибших культур, и длится он добрых два столетия. У китайцев эта стадия называется период «Воюющих царств». Это и есть наша эпоха. В начале двадцатого века политика силы отдельных личностей сменила парламентскую партийную политику, которая все же определялась отвлеченными идеалами. Сила личности, великий одиночка повелевает

<sup>4</sup> В прямом смысле слова (*франц.*).

обессиленными массами феллахов, которые для него всего лишь убойный скот. Цезарь может вернуться и вернется непременно, а второго Гете не будет никогда, и надо быть глупым романтиком, чтобы еще в наше время придавать сколько-нибудь серьезное значение явлениям культуры — искусству, поэзии и образованию. Феллахам все это ни к чему. Например, наша литературная жизнь означает всего-навсего совершенно бессмысленную борьбу между искусством большого города, насквозь проникнутым интеллектуалистической цивилизацией, и идиллически отсталым деревенским искусством. Человеку, понимающему неотвратимость рока, в высшей степени наплевать на подобную чепуху, его интересует лишь то, что имеет будущее — механика, техника, экономика и, пожалуй, еще политика. Смешон тот, кто полон доброй воли и льстит себя уверенностью, будто добро, дух, воля к созданию достойных человека общественных порядков тоже относятся к понятию рока и могли бы оказать благотворное влияние на ход истории. То, что ожидает человечество, абсолютно несомненно: грандиозные войны цезарей за власть и добычу, потоки крови и, если говорить о народах-феллах — молчание и долготерпение. Человек, снова опустившийся до уровня зоологического вида, обреченный на жалкое существование в космосе, лишенный истории, будет крестьянином, привязанным к матери-земле, или будет тупо прозябать среди развалин прежних мировых столиц. В качестве наркотика его убогая душа создаст так называемую «вторую религию», суррогат первой, культурно-полноценной и творческой, и она будет бессильна, способна лишь на то, чтобы помочь ему безропотно нести свое страдание.

Носитель этого утешительного воззрения отличается своеобразной противоречивостью. Его учение, которое кажется чистой теорией познания, холодно-научной, бесстрастной, возвышающейся над всеми партийными распрями, проповедующей неумолимый детерминизм, — оно тем не менее само несет в себе вполне определенное волевое начало, мировоззрение, симпатию и антипатию; оно в основе своей не бесстрастно, ибо оно втайне консервативно. Человек не может создать такую теорию, так классифицировать все явления, так отождествить историю и культуру, так непримиримо противопоставить друг другу форму и дух — не будучи консерватором, не утверждая в глубине души форму и культуру и не питая ненависти к распаду, вызываемому цивилизацией. Сложность и извращенность позиции Шпенглера состоит (или только по внешней видимости состоит) в том, что он, вопреки этому тайному сокровенному консерватизму, не утверждает культуру, не борется за «сохранение», не грозит смертью и опустошением из одних лишь педагогических соображений, чтобы удержать ее, но утверждает «цивилизацию», фаталистически негодуя, соглашается с ее неизбежностью, с издевательской надменностью выражает ей предпочтение перед культурой, — потому что ей принадлежит будущее, а все явления культуры лишены жизненной перспективы. Вот на какое суровое насилие над собой, на какое самоотрицание, казалось бы, способен этот бесстрастно героический мыслитель. Он, тайный консерватор, человек культурного мира, казалось бы парадоксально утверждает цивилизацию; но все это видимость видимости, двойное противоречие, потому что он и в самом деле ее утверждает, — не только словом, которому якобы сопротивляется его существо, но и всем своим существом!

Он сам представляет цивилизацию, которую отрицает, предрекая ее победу, он воплощает ее в себе. Всем тем, что характерно для нее, что в нее входит — Интеллектуализм, рационализм, релятивизм, культ причинности, «закона природы», — всем этим пропитано его учение, из всего этого оно состоит, и по сравнению со свинцовым историческим материализмом этого учения другой (скажем, материализм Маркса) не более, чем голубой идеалистический туман. Оно не перешагнуло рубеж девятнадцатого века, безнадежно *vieux jeu*<sup>5</sup>, насквозь *bourgeois*<sup>6</sup>; и, предрекая апокалиптические ужасы грядущей «цивилизации», оно само является ее заключительным аккордом и надгробной песней.

Автор этого учения заимствует у Гете понятие морфологии, но в его руках эта идея

<sup>5</sup> Устарело (франц.).

<sup>6</sup> Мещанское (франц.).

приобретает примерно такой же характер, какой в руках Дарвина приобрела идея развития, взятая у того же Гете. Писать он научился у Ницше, усвоив у него трагическую интонацию; но его равнодушная и ложная суровость даже и не почувствовала того, что составляет сущность этого истинно сурового и любвеобильного мыслителя, этого первооткрывателя новых невыразимых истин. Он враждебен духу, — но не в смысле культуры, а в смысле материалистической цивилизации, чья область — вчерашний день, а не завтрашний. Он ее истинный сын, ее последний талант и при этом прорицает ее наступление с пессимистической неумолимостью, давая понять, что втайне он консерватор и приверженец культуры.

Одним словом, он — *сноб*, и это проявляется также в его приверженности природе, закону природы, в его издевках над духом. «Не обманчивы ли неизбежные законы природы, не противоестественны ли они? — спрашивает Новалис. — Все подчиняется законам, и ничто законам не подчиняется. Закон — это простое, легко уловимое соответствие. Мы ищем законы по причине стремления к удобству». Да, по причине стремления к удобству и по причине надменно-аподиктического безразличия! А также по причине того самодовольства, которое, сладострастно предвкушая свое предательство, заносчиво становится на сторону природы—против духа, против человека; именем природы человек тупо твердит о безжалостности законов и при этом кажется самому себе невесть каким несокрушимым и благородным. Но проблему благородства, которая и в самом деле связана с противоречием между природой и духом, не может решить дезертир и перебежчик, и, чтобы иметь право представлять природу против духа, как поступает Шпенглер, нужно обладать истинным благородством природы, подобно Гете, который представлял ее в столкновениях с шиллеровским благородством духа. Если же человек этого благородства лишен, он заслуживает того названия, которое я только что дал талантливому автору «Заката», — названия сноба, и принадлежит к многочисленным современным пророкам, которые ко всеобщей досаде поучают других, не имея на то никаких оснований.

1924